



Мария Александровна Воейкова-Киселёва (1914, Сызрань – 1934, Циндао)

# «Я верила, что жизнь изменится...»

**М**ать свою я не помню. Она умерла, когда ей было 19 лет. Её родственников я тоже не знаю. Мой отец отдал меня на воспитание своей двоюродной сестре, тётке Кате Мертваго. Она была очень богатой помещицей и жила в своем имении Репьёвке в Симбирской губернии вместе с матерью Александрой Александровной Мертваго. Я не помню их обеих, только отдельные картинки остались в памяти. Большая столовая, шкаф с конфетами, лицо тёти Кати, дававшей мне их после обеда. Моя маленькая комната с зелёной лампой, кресты и поцелуи, когда я ложилась спать.

Помню яркое, солнечное утро. Тётя Катя откуда-то вернулась и принесла тёплые, мягкие бублики. Я сидела на крыльце с 13-летней нянькой Раисой и грелась на солнышке. Потом – какие-то выстрелы и огонь, а потом... потом было что-то неясное. Пять лет спустя мне рассказывали, что это «неясное» была смерть Мертваго и расстрел генерала, который жил у нас в то время.

По рассказам бабушки я знаю, что папа вывез меня из деревни в одной рубашке и привёз в Самару, где жили все наши родственники. Мы жили у богатой помещицы Варвары Вадимовны<sup>1</sup>. У неё сохранились запасы с прошлых лет, и она совсем не голодала. Нам же пришлось выносить в Самаре ужасный голод, вообще же о Самаре воспоминания остались хорошие... Волга с пароходами и баржами, детский сад с кубиками и большевистскими песнями, старушки, которые жили у В.В. Все они очень любили меня. Одна из них часто кормила меня старыми, засахаренными конфетами и учила делать из бумаги лодочки. Или в сумерки, посадив меня на колени, рассказывала про ад и рай, про Бога и ангелов, про то, как Бог сотворил мир и наказал людей. А я, затаив дыхание и открыв рот, жадно вслушивалась в её слова. Мне тогда было 6 лет.

Потом мы уехали на дачу в Журавлёвку. Помню оранжерею со слад-

кими персиками, высокую траву с разноцветными маленькими розочками... Когда мы вернулись в Самару, голод был в самом разгаре. Я часто ходила с бабушкой на базар. Помню, как толстые, грязные бабы, приподняв подол, говорили: «И что ты, родимая, картошку по тысяче продавать, нешто Бога не боязно?» А другая, показывая кулак, говорила: «Погодь, погодь, скоро три тысячи стоит будя». И действительно цены поднимались с бешеной быстротой. Увидать корочку хлеба казалось диковинкой. Помню, как бабушка приносила краюхи хлеба и прятала в шкаф, а я воровала их, не оставляя никому ни корочки. Хлеб стали прятать, но я находила его. Тогда его стали подвешивать на потолок, а я, маленькая, голодная, ходила и смотрела на него снизу.

Но мы уехали из Самары. Дядя<sup>2</sup> взял до Москвы теплушку. В теплушке ехали бабушка, тётя<sup>3</sup>, дядя, я, собака и корова. От Самары до Москвы мы ехали два месяца<sup>4</sup>. Прицепят, бывало, к нашему товарному поезду паровозы с одной и другой стороны, чтобы знать, какой из них сильнее. Такой грохот, шум и толчки поднимались, что мы все падали на пол. При этом корова мычала на весь поезд. Или отцепят нас от состава совсем и увезут на запасный путь, и там мы стоим неделю, две...

В Москву мы приехали в 5 часов вечера. Все ушли, а меня оставили караулить вещи. Наконец пришёл какой-то господин и сказал, что он мой дядя<sup>5</sup>, посадил меня на извозчика, вещи – на подводу, сел рядом со мной и крикнул извозчику «Тверская», промолчав всю дорогу. Огромные здания, трамваи, звонки, люди – всё это до того поразило меня, что я не могла говорить. Чужой дядя мне не нравился, а дома и трамваи, казалось, хотели задавить меня. Наконец извозчик остановился. Мы вошли на второй этаж, в какую-то маленькую комнату. Вещи свалили в кучу, меня посадили на сундук, закрыли дверь и ушли.

Уже стемнело. Никого не было. Я сидела и плакала. Мне хотелось есть, и я ужасно боялась темноты. В 10 часов пришла бабушка, меня накормили и уложили спать на сундуке.

Жизнь в Москве была невеселая. Втроём, в одной комнате с маленькой печуркой, на которой готовили обед, когда он был, а когда не было, то печурка стояла холодная. Хороши были только те вечера, когда бабушка брала меня куда-нибудь с собой. Помню тысячи огней, витрины магазинов, освещённые окна многоэтажных домов, двухглазые автомобили, гремящие трамваи, звон колоколов. Я закрывала глаза, держась за руку бабушки, и казалось мне, что я в какой-то волшебной сказке...

На Покров надели на меня коричневое платье, какие-то старые сапоги, длинную шубу, повязали бабушкиным шарфом и повезли в приют. Там какие-то женщины раздели меня и посадили в ванну, в которой купалось человек десять детей, таких же лет, как я. Потом нарядили меня в длинное деревенское платье и посадили куда-то в угол. Как я плакала и просила, чтобы бабушка взяла меня домой, как я кричала и билась в руках каких-то женщин, но никто не обращал на это внимания. Бабушка, просидев со мной часов до десяти, ушла, перекрестив меня и надев на шею медную иконку, которая сохранилась до сих пор. В слезах я заснула. Проснулась я в больнице. Фельдшерица обходила больных и мерила температуру. У меня оказалось 40 градусов. По ошибке меня положили в заразный барак. Через месяц я была здорова, и меня перевели в приют, на Воробьёвы горы.

В приюте был голод. Дети ходили бледные и худые, многие падали в обморок. Бабушку я не видела два месяца, так как она не знала, куда меня перевели. В приюте я заболела корью и одновременно брюшным тифом и дифтеритом. Когда я выздоровела, то не могла ходить, и у меня сделался нарыв на голове – осложнение после тифа.

После полутора лет в приюте мы с бабушкой уехали в деревню к тете Маре<sup>6</sup>.

Была чудная зимняя лунная ночь. Медленно шли мы вдвоем с бабушкой по снежному полю. Перед нами была дорога, прямая, как стрелка, вся залитая лунным сиянием. Мы только что слезли с поезда, который не доходил до деревни... Вдали понемногу показывались огоньки. Несмотря на поздний час, село ещё не спало...

Скрипнула калитка, и мы вошли во двор. Залаяла собака, застучали крючки и запоры. Встреча была странная. Тётя Мара очень обрадовалась, увидав мать. Мой двоюродный брат Юрий<sup>7</sup> поцеловал меня крепко и ущипнул за руку. Дядя Вася<sup>8</sup>, приподняв меня наверх и потрепав добродушно за уши, опустил меня на пол. Затем все стали ложиться спать, как будто ничего не случилось и мы живем здесь давно. Меня тётя Мара поместила в деревенскую школу, куда ходил мой двоюродный брат Юрий. Конец зимы и лето пролетели незаметно, а в августе тётя Мара и бабушка уехали в Петербург...

После отъезда бабушки и тёти Мары мы переехали на фабрику, где была школа, куда назначили тётю Мару заведующей. Туда мы приехали в начале осени. Хорошо помню наш дом с четырьмя небольшими комнатами и стеклянной верандой, которая выходила в поле. Из окон был виден лиственный лес, уже немного пожелтевший... А если пойдёшь в другую сторону, там тоже лес, на горе стоит дом, совсем развалившийся и старый. Дождь размочил кирпич до того, что его нельзя взять в руки. В этом доме когда-то жила вся папина семья, а теперь вот он стоит старый, дряхлый, молчаливый. Кругом него мрак и беспорядок, как будто здесь стоит гроб, который ещё не опустили в землю.

**Я долго стояла и смотрела на этот дом, почему-то в глазах мелькали маркизы из старых сказок, слышалась музыка и необыкновенные голоса. Под ногами захрустели опавшие листья, и я поняла, что ничего нет и, может быть, даже никогда не было.**



↑ О.А., Алек, Муся, Александр Дмитриевич

Бежишь вниз по тропинке от этого мрака и тишины. Вот опушка леса и овраг, первый, второй, показался куст жёлтой розы, плетень и большой старый сад. Дряхлая, ветхая избушка, в которой живёт сторож. Любила я этот сад. Огромные, развесистые деревья ранеток, спелые сочные дули и яблоки, красные, сладкие арбузы, мягкие, душистые дыни. За садом был пруд, наполовину заросший камышами...

В начале сентября вернулась тётя Мара и привезла с собой моего брата Алика. Сначала я его не любила и дичилась, но потом привыкла и полюбила, тем более что он всегда за меня заступался, когда мы дрались с Юркой. Мальчики поселились в шалаше, чтобы караулить сад. Домой они приходили редко, да и то только для того, чтобы переодеться и взять хлеба. Сама я ходила к ним часто... Сидя втроём, мы уплетали арбузы и дыни, а когда оставались только одни корки, Юра и Алик мазали меня ими и выгоняли из шалаша. Со слезами на глазах, вся измазанная, с пятью яблоками в корзинке я плелась домой. Проходя через лес, я закрывала глаза, мне было страшно. А иногда мы сидели дружно и разговаривали, что было очень редко. Потом братья провожали меня через лес, и я уже не закрывала глаза и не плакала, а корзинка доверху была наполнена яблоками.

В конце осени Алик уехал. Стало пусто и скучно. Листья опали, пошли дожди, лес стоял хмурый и серенький. В нём часто слышался вой волков и свист ветра. В школе начались занятия...

Иногда я и Юрка, надев высокие тёплые валенки и шубы, шли в лес, чтобы срубить дерево. Ноги до колен увязали в снегу, сухие сучья царапали лицо и лезли в глаза. Найдя нужное дерево, Юра заставлял меня держать его, а сам, взмахивая острым топором, рубил под самый корень. Слышался стон и шелест веток, когда вскрикивала птица, перелетев на другую ветку, а потом снова наступала тишина.

В лунные вечера тётя Мара брала нас с Юрой и старую собаку Каера кататься на санках с горы. Усевшись втроём на узкие, маленькие санки, мы летели с горы прямо в пруд. От страха и холода захватывало дух, глаза закрывались, а руки беспомощно вцеплялись в чью-то спину. Иногда кто-нибудь падал и мы летели кубарем, но на душе было весело и светло.

На Рождество мы наряжались в какие-то причудливые костюмы и ходили по домам смешить знакомых... Весной, когда ещё не стаял снег, а кое-где показывалась травка, я бегала в лес собирать подснежники. На душе было радостно и светло от весеннего солнца, от проснувшегося леса, мохнатых, тёплых подснежников и прилетевших жаворонков.

Прошло лето, а осенью меня увезли в Томышево, к бабушке Давыдовне и отдали опять в деревенскую школу. Помню длинные зимние вечера, когда за окном бушевала метель, а мы с Давыдовной сидели в жарко натопленной избе с керосиновой лампой. Она пряла, а я читала или делала уроки. Потом, помолившись Богу, мы ложились на тёплую печку и засыпали...



По воскресеньям я ходила к обеде... Дома бабушка Давыдовна кормила похлёбкой и вкусным пирогом с картошкой. В Рождественский пост Давыдовна не давала скоромного, а когда я хныкала и не хотела есть постного, она со злостью доставала крынку молока с густым слоем сливок, краюху чёрного хлеба и говорила: «На, ешь, холера, прости меня, Господи!» Я ела и болтала ногами, а Давыдовна всё ворчала: «Вот те язык отрежут, басурманка этакая!»

По субботам, когда я приходила из церкви, а на дворе стояла темнота... Давыдовна зажигала сальный огарок и ставила около старых медных икон... Потом она вставала на колени и крестилась широким двухперстным крестом. Я стояла рядом, всматриваясь в неясные медные иконы, и вспоминала рассказы самарской старушки о сердитом Боге, который наказал людей. Я как-то невольно по-детски шептала заученные молитвы и сама слагала слова и просьбы о том, чтобы Великий Боженька не сердился на меня. В избе был полумрак и тишина, только изредка слышались вздохи Давыдовны, шёпот её молитвы да шелест её толстых юбок, когда она вставала на колени.

Пришла Масленица. К обеду Давыдовна напекла вкусных масляных блинов, поставила горшок со сметаной, позвала каких-то соседних баб и угощала. Они со вкусом ели и хвалили блины...

На Страстной уже стаял снег, зазеленела травка, прилетели скворцы, запели жаворонки. С деревенскими девушками я ходила в церковь говеть. Перед исповедью я вставала перед Давыдовной на колени, целовала в морщинистую щеку, прося прощение. Потом она долго учила меня, что надо говорить на исповеди. «Коли спросят: Грешна? – так и бай: грешна, батюшка. Да гляди, не соври, слышь, чаво баю?» В церкви было светло, косые лучи падали на пёстрые платки девушек и создавали что-то праздничное. Голос дьячка звучал однообразно и скучно, но во всей тишине, в старых неубранных иконах было что-то торжественное и великое.

**Никогда я не забуду этой первой исповеди и того чувства, которое я после неё испытала. Мне показалось вдруг всё таким радостным, таким светлым и счастливым, мне хотелось плакать и смеяться, обнять и поцеловать всех...**

Цвела яблоня. Я лежала на траве и смотрела на голубое небо. О чём я тогда думала, не помню. Почему-то мне всегда казалось, что я живу в какой-то сказке, и хотя я не знала, что где-то есть чужая, далёкая земля, но я верила, что жизнь изменится...

Летом ходила на гумно смотреть, как молотили бабы. Когда заходило солнце, стояла у ворот и ждала, когда пастух пригонит стадо. Потом, загнав коров и овец в хлев, сидела на крыльце и о чём-то думала. Подоив коров, мы с Давыдовной пили тёплое парное молоко с чёрным хлебом.

Прошла ещё одна зима, а ранней весной приехала тётя Мара и сказала, что я уеду в Петроград, а потом – в Китай, мне это было странно и непонятно. Приходили бабы и рассуждали: «А она-то там в золотых сапогах ходить будя да калачи белые есть, вот те и счастье сиротское на голову валится». Давыдовна косо поглядывала на них и молчала, а когда они ушли, говорила «Вот языком-то чесать, хоть отбавляй. Ты смотри, не слушай их, какой там Китай, я не знаю, только золотых сапог у тебя не будет». Но мне приятно было слушать разговоры баб, хотелось верить в то, что у меня будут белые калачи и резиновые мячики, но внутри был страх перед новой жизнью.

...Подали тарантас, положили вещи и стали прощаться. Тётя Мара ехала со мной в Петроград. Юра, поцеловав меня, отошёл в сторону, дядя Вася, потрепав за уши, что-то сказал на прощание.

Ехали мы медленно, переезжали вброд какую-то речку. Из-за леса выплыла луна и освещала дорогу. На

востоке вдруг показалось зарево, оно разгоралось всё больше и больше. Кучер сердито проворчал: «Горит где-то». Я прижалась к тётке и наблюдала за алым заревом. В душе была страшная тревога...

В Петроград мы приехали в серый весенний день... Взошли мы куда-то на седьмой этаж. Нас встретила бабушка, тётя Алина и Катюша. Я очень полюбила Катюшу и её мать. Помню, как по вечерам, когда все собиравались в столовой, тётя Алина садилась за рояль и пела, аккомпанируя себе. В те минуты пробуждалось во мне что-то такое мягкое, тонкое и приятное. Вслушиваясь в звучный голос и свернувшись на диване в калачик, я думала о своей матери, мне так хотелось, чтобы она была здесь, рядом. Ложась спать, я плакала без причины, а тётя Алина приходила и утешала меня.

В Петрограде я встретила своим братом и его матерью, тётей Надей. Изредка я даже гостила у них по неделе. Тётя Надя была удивительный человек. Помню, как в большой серой комнате, посадив меня на диван, она читала мне интересные сказки... Алик, таская меня на плечах, учил танцевать вальс и польку или водил меня по городу и по берегу Невы, рассказывая мне историю этого города.

**...На Страстной бабушка часто ходила в церковь.**

**Помню её лицо, когда она, опершись на палочку, молилась Богу. Ах, какое это было лицо! Слёзы медленно текли по щекам и капали на пол, а в глазах было столько веры, такой твёрдой, необыкновенной веры. Я тогда ещё, совсем девчонка, не понимала бабушку, не понимала её жизни, веры и любви к людям.**

<sup>1</sup> В.В. Осоргина (1862–1941), близкий друг Воейковых.

<sup>2</sup> Иван Дмитриевич Воейков, младший сын Ольги Александровны.

<sup>3</sup> Наталия, первая жена Ивана Дм.

<sup>4</sup> На самом деле полмесяца (см. письма Ольги Александровны Воейковой).

<sup>5</sup> Павел Дмитриевич Воейков, второй сын Ольги Александровны.

<sup>6</sup> Мария Дмитриевна Воейкова-Денисова, младшая дочь О.А.

<sup>7</sup> Юрий Васильевич Денисов.

<sup>8</sup> Василий Денисов, муж Марии Дмитриевны.